К 81-й годовщине со дня рождения А. М. Горького

М. Горький

Жрец морали

...Он пришел ко мне поздно вечером и, подозрительно оглянув мою комнату, негромко спросил:

— Могу я поговорить с вами полчаса наедине?

В тоне его голоса и во всей сутуловатой худой фигуре было что-то таинственное и тревожное. Он сел на стул так осторожно, точно боялся, что мебель не сдержит его длинных и острых костей.

— Вы можете опустить штору на окне? — тихо спросил он.

— Пожалуйста! — сказал я и тотчас исполнил его желание.

Благодарно кивнув мне головой, он подмигнул в сторону окна и еще тише заметил:

— Всегда следят.

— Кто?

— Репортеры, разумеется.

Я внимательно посмотрел на него. Одетый очень прилично, даже щеголевато, он, все-таки, производил впечатление бедняка. Его лысый, угловатый череп блестел скромно и корректно. Чисто выбритое, очень худое лицо, серые, виновато улыбающиеся глаза, полуприкрытые светлыми ресницами. Когда он поднимал ресницы и смотрел прямо в лицо мне, я чувствовал себя перед какой-то туманной, не глубокой пустотой. Сидел он, подогнув ноги под стул, положив ладонь правой руки на колено, а левую, с котелком в ней, опустил к полу. Длинные пальцы рук немного дрожали, углы плотно сжатых губ были устало опущены — признак, что этот человек дорого заплатил за свой костюм.

— Позвольте вам представиться, — вздохнув и покосившись на окно, начал он, — я, так сказать, профессиональный грешник...

Я сделал вид, что не расслышал его слов, и наружно спокойно спросил:

— Как?

— Я — профессиональный грешник,— повторил он буква в букву и добавил:— моя специальность — преступления против общественной морали...

В тоне этой фразы звучала только скромность, я не уловил даже тени раскаяния в словах и на лице.

— Вы... не хотите ли стакан воды? — предложил я ему.

— Нет, благодарю вас! — отказался он, и виноватые глаза его с улыбкой остановились на моей фигуре.

— Вы, кажется, не вполне ясно понимаете меня?

— Нет, почему же?—возразил я, скрывая, по примеру европейских журналистов, невежество под маской развязности. Но он мне, очевидно, не поверил. Покачивая котелком в воздухе и скромно улыбаясь, он заговорил:

— Я приведу вам несколько фактов из моей деятельности, чтобы вам было понятно, кто я...

Здесь он вздохнул и опустил голову. И снова я был удивлен тем, что в этом вздохе было только утомление.

— Помните, — начал он, тихо покачивая шляпой, — в газетах писали о человеке... то есть о пьянице? Скандал в театре?

— Это господин из первого ряда, который во время патетической сцены встал, надел шляпу и начал кричать извозчика?— спросил я.

— Да! — подтвердил он и любезно добавил: — это — я. Заметка под заголовком «Зверь, истязатель детей» — тоже мною вызвана, как и другая — «Муж, продающий свою жену»... Человек, преследовавший на улице даму нескромными предложениями, — это тоже я... Вообще, обо мне пишут не менее одного раза в неделю и всякий раз, когда требуется доказать испорченность нравов...

Все это он сказал негромко, очень внятно, но без хвастовства. Я ничего не понимал, но мне не хотелось показать ему это. Как все писатели, я тоже делаю всегда вид, будто знаю жизнь и людей, точно свои пять пальцев.

— Гм! — сказал я тоном философа. — Что же, вам доставляет удовольствие этот род занятий?

— Когда я был молод — это забавляло меня, не скрою, — ответил он. — Но теперь мне уже сорок пять лет, я женат, имею двух дочерей... В таком положении очень неудобно, когда вас раза два-три в неделю изображают в газетах, как источник порока и разврата. Постоянно следят за вами репортеры, чтобы вы точно и во-время выполняли свои обязанности...

Я закашлялся, чтобы скрыть недоумение. Потом тоном сострадания спросил:

— Это у вас болезнь?

Он отрицательно качнул головой, помахал себе в лицо шляпой, как веером, и ответил:

— Нет, профессия. Я уже сказал вам, что моя специальность—мелкие скандалы на улицах и в публичных местах... Другие товарищи в нашем бюро занимаются более ответственными и крупными делами, например: оскорбление религиозного чувства, совращение женщин и девиц, кражи на сумму не выше тысячи долларов...—Он вздохнул, оглянулся вокруг и пояснил:—И прочие поступки против нравственности... а я делаю только мелкие скандалы...

Он говорил, как ремесленник о своем ремесле. Это меня начинало раздражать, и я саркастически спросил:

— Вас не удовлетворяет это?

— Нет! — просто ответил он.

Его простота обезоруживала и возбуждала острое любопытство. Помолчав, я поставил ему вопрос:

— Сидели в тюрьме?

— Три раза. А вообще я действую в размерах штрафа. Но штрафы платит, конечно, бюро... — об'яснил он.

— Бюро? — невольно повторил я.

— О, да! Согласитесь, что мне самому невозможно платить штрафы! — с улыбкой сказал он. — Пятьдесят долларов в неделю — это очень немного для семьи в четыре человека.

— Дайте мне подумать об этом, — сказал я, встав со стула.

— Пожалуйста! — согласился он.

Я начал ходить по комнате взад и вперед мимо него, напряженно вспоминая все формы психических заболеваний. Мне хотелось определить характер его болезни, но я не мог. Было ясно одно — это не мания величия. Он следил за мной с любезной улыбкой на худом, истощенном лице и терпеливо ждал.

— Итак бюро? — спросил я, останавливаясь против него.

— Да, — сказал он.

— Много служащих?

— В этом городе — 125 мужчин и 75 женщин...

— В этом городе? Значит... и в других городах — тоже бюро?

— Во всей стране, конечно! — сказал он, покровительственно улыбаясь.

Мне стало жалко себя.

— Но... что же они... — нерешительно спросил я, — чем же они занимаются, эти бюро?

— Нарушают законы нравственности!— скромно ответил он, встал со стула, сел в кресло, потянулся и с откровенным любопытством стал рассматривать мое лицо. Очевидно, я казался ему дикарем, и он переставал стесняться.

— Чорт побери! — подумалось мне. — Не надо показывать, что я ничего не понимаю... — И, потирая руки, я оживленно сказал:

— Это интересно! Очень интересно!.. Только... зачем это?

— Что? — улыбаясь спросил он.

— Да эти бюро для нарушения законов морали?

Он засмеялся добродушным смехом взрослого над глупостью ребенка. Я посмотрел на него и подумал, что, действительно, источником всех неприятностей в жизни является невежество.

— Как вы полагаете, надо жить, а? — спросил он.

— Конечно!

— И надо жить приятно?

— О, разумеется!

Этот человек встал, подошел ко мне и хлопнул меня по плечу.

— А разве можно наслаждаться жизнью, не нарушая закона морали, а?

Он отступил от меня, подмигнул мне, снова развалился в кресле, как вареная рыба на блюде, вынул сигару и закурил ее, не спросив моего разрешения. Потом продолжал:

— Кому приятно кушать землянику с карболовой кислотой?

И он бросил горящую спичку на пол.

Уж это всегда так, — сознав свое преимущество над ближним, человек сразу становится свиньей по отношению к нему.

— Мне трудно понять вас! — сознался я, глядя в его лицо.

Он улыбнулся и сказал:

— Я был лучшего мнения о ваших способностях...

Становясь все свободнее в своих манерах, он сбросил пепел сигары прямо на пол, полузакрыл глаза и, следя сквозь ресницы за струями дыма своей сигары, заговорил тоном знатока дела:

— Вы мало знакомы с моралью — вот что я вижу...

— Нет, я иногда сталкивался с нею, — скромно возразил я.

Он вынул сигару изо рта, посмотрел на конец ее и философски заметил:

— Удариться лбом об стену — это еще не значит изучить стену.

— Да, я согласен с этим. Но почему-то я всегда отскакиваю от морали, как мяч от стены...

— Здесь виден недостаток воспитания! — сказал он резонерски.

— Очень может быть,—согласился я.— Самым отчаянным моралистом, которого я видел, был мой дед. Он знал все пути в рай и постоянно толкал на них каждого, кто попадался ему под руку. Истина была известна только ему одному, и он усердно вколачивал ее чем попало в головы членов своего семейства. Он прекрасно знал все, чего хочет бог от человека, и даже собак и кошек учил, как надо вести себя, чтобы достигнуть вечного блаженства. При всем этом он был жаден, зол, постоянно лгал, занимался ростовщичеством и, обладая жестокостью труса, — особенность души всех моралистов и каждого, — в свободное и удобное время бил своих домашних, чем мог и как хотел... Я пробовал влиять на деда, желая сделать его мягче, — однажды выбросил старика из окна, другой раз ударил его зеркалом. Окно и зеркало разбились, но дед не стал от этого лучше. Он так и умер моралистом. А мне с той поры мораль кажется несколько противной... Может быть, вы скажете что-нибудь такое, что может помирить меня с нею? — предложил я ему.

Он вынул часы, посмотрел на них и сказал:

— У меня нет времени читать вам лекции... Но, если я пришел к вам, все равно. Начатое — нужно кончать. Может быть, вы сумеете что-нибудь сделать для меня... Я буду краток...

Он снова полузакрыл глаза и начал говорить внушительным тоном:

— Мораль необходима для вас — это нужно помнить! Почему она необходима? Потому что она ограждает ваш личный покой, ваши права и ваше имущество—иначе сказать, она защищает интересы «ближнего». «Ближний» — это всегда вы и более никто, понимаете? Если у вас есть красивая жена, вы говорите всем окружающим вас: «не пожелай жены ближнего твоего». Если у человека есть деньги, волы, рабы, ослы, и сам он не идиот — он моралист. Мораль выгодна для вас, когда вы имеете все, что вам нужно, и желаете сохранить это для себя одного; она невыгодна, если у вас нет ничего лишнего, кроме волос на голове.

Он погладил рукой свой голый череп и продолжал:

— Мораль — это страж ваших интересов, вы стараетесь поставить его в души людей, окружающих вас. На улицах вы ставите полицейских и сыщиков, внутрь человека вы всовываете целый ряд принципов, которые должны врасти в его мозг и связать в нем, задушить, уничтожить все враждебные вам мысли, все угрожающие вашим правам желания. Мораль всего строже там, где экономические противоречия нагляднее. Чем больше у меня денег, тем более я строгий моралист. Вот почему в Америке, где так много богатых — ими исповедуется мораль во сто лошадиных сил. Понятно?

— Да, — сказал я, — но зачем же бюро?

— Подождите! — возразил он, внушительно подняв руку.—Итак, мораль имеет целью внушить всем людям, чтобы они оставили вас в покое. Но если у вас много денег—у вас множество желаний и полная возможность осуществить их,—так? Однако, большинство желаний ваших нельзя осуществить, не нарушая принципов морали... Как же быть? Нельзя проповедывать людям то, что отрицаешь сам: это и неловко, да и люди могут не поверить. Ведь они не все глупы... Например: вы сидите в ресторане, пьете шампанское и целуете очень красивую женщину, хотя она не жена вам... С той точки зрения, которую вы считаете обязательной для всех — подобные занятия являются безнравственными. Но лично для вас — такая трата времени необходима: это ваша милая привычка, она дает вам массу наслаждений. И перед вами встает вопрос: как примирить проповедь воздержания от сладких пороков с вашей любовью к ним? Другой пример: вы говорите всем—не укради. Ибо вам крайне будет неприятно, если вас начнут обкрадывать, — не так ли? Но в то же время, хотя у вас и есть деньги — вам нестерпимо хочется украсть еще немного. Третий: вы строго исповедуете принцип — не убий. Потому что жизнь вам дорога, она приятна, полна наслаждений. Вдруг в ваших угольных копях рабочие требуют увеличения платы. Вы невольно вызываете солдат, и — трах!—несколько десятков рабочих убито. Или: вам некуда сбывать товар. Вы указываете на этот факт вашему правительству и убеждаете его открыть для вас новый рынок. Правительство любезно посылает небольшую армию куда-нибудь в Азию, Африку и исполняет ваше желание, перебив несколько сотен или тысяч туземцев... Все это плохо гармонирует с вашей проповедью человеколюбия, воздержания и целомудрия. Но, избивая рабочих или туземцев, вы можете оправдать себя указанием на интересы государства, которое не может существовать, если люди не станут подчиняться вашим интересам. Государство—это вы, если вы богатый человек, разумеется. Вам гораздо труднее в мелочах,—в разврате, воровстве и прочем. Вообще, позиция богатого человека—трагическая позиция. Ему положительно необходимо, чтобы все любили его, все воздерживались от покушений на целость его имущества, чтобы никто не нарушал его привычек и все относились целомудренно к его жене, сестре, дочерям. В то же время для него не только нет необходимости любить людей, воздерживаться от воровства, целомудренно относиться к женщинам и так далее—напротив! Все это только стесняет его личную деятельность и безусловно вредно для успеха его работы. Обычно—вся его жизнь сплошное воровство, он грабит тысячи людей, целую страну, — это необходимо для роста капитала, то есть прогресса страны — вы понимаете? Он развращает женщин десятками,— это очень приятное развлечение для праздного человека. И кого ему любить? Все люди делятся для него на две группы — одну он обворовывает, другая конкурирует с ним в этом занятии.

Довольный своим знанием вопроса, оратор улыбнулся и, бросив окурок сигары в угол комнаты, продолжал:

— Итак: мораль полезна богатому и вредна всем людям, но, в то же время, она не нужна ему и необходима для всех. Вот почему моралисты стараются вколотить принципы морали внутрь людей, а сами всегда носят их снаружи, как галстуки и перчатки. Далее: как убедить людей в необходимости для них подчинения законам морали? Никому не выгодно быть честным среди жуликов. Но если невозможно убедить,—гипнотизируйте! Это всегда удается...

Он утвердительно кивнул головой и, подмигнув мне, повторил:

— Невозможно убедить, — гипнотизируйте!

Затем он положил свою руку на колено мне, заглянул в лицо мое и, понизив голос, продолжал:

— Дальнейшее—между нами, хорошо?

Я кивнул головой.

— Бюро, в котором я служу, занимается гипнозом общественного мнения. Это одно из оригинальнейших учреждений Америки — прошу заметить! — с гордостью сказал он.

Я еще раз наклонил голову.

— Вы знаете, что наша страна,—говорил он,—живет только одним стремлением — делать деньги. Здесь все хотят быть богатыми, и человек для человека— только материал, из которого всегда можно выжать несколько крупинок золота. И вся жизнь есть процесс вынимания золота из мяса и крови человека. Народ в этой стране — как и везде, я слышал—руда, из которой добывают желтый металл, прогресс—это концентрация физической энергии масс, то есть кристаллизация мяса, костей и нервов человека в золото. Жизнь построена очень просто...

— Это ваш личный взгляд?—спросил я.

— Это? Конечно, нет, — сказал он с гордостью. — Это просто чья-то фантазия... Я не помню, как она попала в мою голову... Я пользуюсь ею, только когда говорю с людьми... ненормальными... Продолжаю. Народу здесь некогда заниматься пороками—для этого не остается свободного времени. Часы напряженной работы так истощают человека, что он уже не имеет ни сил, ни желания согрешить в час отдыха. Людям некогда думать, у них нет силы желать, они живут только работой, для работы, и это делает их жизнь очень нравственной. Разве иногда, в праздник, несколько ребят повесят пару негров, но это — не против морали, потому что негр — не белый, к тому же их здесь много, этих негров. Все ведут себя более или менее прилично, и на общем сером фоне этой неподвижной жизни, забитой в тесные рамки старой пуританской морали, всякое нарушение ее принципов выступает резко, как пятно сажи. Это — хорошо, но это — дурно. Высшие классы общества могут гордиться поведением низших, но в то же время такое поведение стесняет свободу действий богатых. Они имеют деньги—значит, они имеют право жить как хотят, не считаясь с моралью. Богатые — жадны, сытые — чувственны, праздные — порочны. Бурьян растет на жирной почве, разврат— на почве пресыщения. Что же делать? Отрицать мораль? Это — невозможно, ибо это — глупо. Если тебе выгодно, чтобы люди были нравственны, — умей скрывать свои пороки... Вот и все! В этом немного нового...

Он оглянулся и еще понизил голос.

— И вот представители высшего общества в Нью-Йорке напали на одну удивительно счастливую мысль. Они решили учредить в стране тайное общество для явного нарушения законов морали. Был собран, путем вкладов, солидный капитал, и в разных городах страны открыты — негласно, разумеется — бюро для гипноза общественного мнения. Наняли разных людей, вроде вашего покорного слуги, и возложили на них обязанность совершать преступления против нравственности. Во главе каждого бюро стоит надежный и опытный человек, руководящий действиями служащих и распределяющий занятия... обыкновенно он редактор какой-нибудь газеты...

— Я не понимаю целей бюро!—тоскливо сказал я.

— Очень просто! — отозвался он. И вдруг его лицо приняло выражение тревоги и нервозного ожидания чего-то. Он встал и, заложив руки за спину, начал медленно ходить по комнате.

— Очень просто! — повторил он. — Я уже сказал вам, что низшие классы, по недостатку времени, мало грешат. А ведь необходимо, чтобы нравственность нарушалась — нельзя же оставлять ее бесплодной старой девой. Нужно, чтобы всегда кричали о нравственности, это оглушает общество, не позволяя ему слышать правду. Если в реку набросать массу мелких щеп, среди них может незаметно для вашего глаза проплыть большое бревно. Или, если вы неосторожно вытащили бумажник из кармана вашего соседа, но своевременно обратите внимание публики на мальчишку, который украл горсть орехов, — это может спасти вас от скандала. Только кричите громче — вор! Наше бюро занимается тем, чтобы создавать массу мелких скандалов для прикрытия крупных преступлений.

Он вздохнул, остановился среди комнаты и помолчал.

— Например, в городе разносится слух о том, что одно уважаемое и почтенное лицо бьет свою жену. Бюро немедленно поручает мне и нескольким товарищам побить наших жен. Мы бьем. Жены, конечно, посвящены в дело и кричат очень громко. Об этом пишут все газеты, и шум, поднятый ими, заставляет забыть о слухах по поводу отношений почтенного лица к его жене. Какое значение имеют слухи, когда налицо факты? Или начинают говорить о подкупе сенаторов. Бюро немедленно организует ряд подкупов полицейских чинов и разоблачает их продажность перед публикой. Снова слухи исчезают перед фактами. Некто из высшего общества оскорбил женщину. Тотчас же в ресторанах, на улицах — создается ряд оскорблений женщин. Поступок представителя высшего света совершенно исчезает в ряду однородных поступков. И так всегда, во всем. Крупная кража засыпается кучей мелких краж, и вообще все крупные преступления подавляются грудами мелочей. Вот — деятельность бюро.

Он подошел к окну, осторожно взглянул на улицу и снова сел на стул, продолжая тихим голосом:

— Бюро ограждает высший класс американского общества от суда народа и, в то же время, постоянными криками о нарушении законов морали забивает народу голову мелкими скандалами, организованными для прикрытия порочности богатых. Народ находится всегда в состоянии гипноза, ему нет времени думать самостоятельно, и он только слушает газеты. Газеты принадлежат миллионерам, бюро организовано ими же... Вы понимаете? Это очень оригинально...

Он замолчал, задумался, низко наклонив голову.

— Благодарю вас! — сказал я ему.— Вы сообщили мне очень много интересного.

Он поднял голову и уныло взглянул на меня.

— Д-да, это интересно, конечно!—медленно и задумчиво произнес он.—Но меня это уже утомляет. Я семейный человек, три года тому назад я построил себе дом... мне хочется немного отдохнуть. Это трудное дело — моя служба. Поддерживать в обществе уважение к законам морали — о! это, право, нелегко! Вы подумайте, мне вреден алкоголь, но я должен напиваться, я люблю жену и тихую жизнь в семье— и должен ходить по ресторанам, скандалить... и постоянно видеть себя в газетах... хотя под чужим именем, конечно, но все-таки... однажды откроется мое собственное имя, и тогда... придется уехать из города... Я нуждаюсь в совете... Я пришел к вам узнать ваше мнение по моему делу... очень запутанное дело!

— Говорите! — предложил я.

— Видите ли что, — начал он, — за последнее время среди представителей высших классов общества в южных штатах заводят любовниц — негритянских девушек... По две и по три сразу. Об этом начали говорить. Жены недовольны поведением мужей. В некоторых газетах получены письма женщин с разоблачением деятельности их мужей. Возможен громкий скандал. Бюро немедленно же принялось за организацию ряда «контр-фактов», как это у нас называется. Тринадцать агентов — и в их числе я — немедленно должны завести любовниц-негритянок. По две или даже по три сразу...

Он нервно вскочил со стула и, приложив руку к карману сюртука, заявил:

— Я не могу сделать это! Я люблю жену... и она мне не позволит, вот что главное! Наконец — если бы одна!

— Откажитесь! — посоветовал я.

Он посмотрел на меня с сожалением.

— А кто же мне уплатит 50 долларов за неделю? И награду в случае успеха? Нет, этот совет вы оставьте для себя... Американец не отказывается от денег даже на другой день после своей смерти. Посоветуйте что-нибудь другое.

— Мне трудно!—сказал я.

— Гм! Почему трудно? Вы, европейцы, очень легкомысленны в вопросах нравственности... ваша развращенность нам известна.

Он сказал это с твердой уверенностью в правде своих слов.

— Вот что,—продолжал он, наклонясь ко мне,—вероятно, у вас есть знакомые европейцы? Я уверен, что есть!

— Зачем вам?—спросил я.

— Зачем?—Он отступил от меня на шаг и встал в драматическую позу.—Я положительно не могу взять на себя дело с негритянками. Судите сами: жена мне не позволит, и я ее люблю. Нет, я не могу...

Он энергично потряс головой, провел рукой по своей лысине и вкрадчиво продолжал:

— Может быть, вы могли бы мне рекомендовать на это дело европейца? Они отрицают нравственность, им все равно! Кого-нибудь из бедных эмигрантов, а? Я плачу десять долларов в неделю, хорошо? Я буду сам ходить по улицам с негритянками... вообще я все сделаю сам,—он должен позаботиться только о том, чтобы родились дети... Вопрос нужно решить сегодня же вечером... Вы подумайте, какой скандал может разгореться, если это дело в южных штатах не завалить своевременно разным хламом! В интересах торжества нравственности — необходимо торопиться...

...Когда он убежал из комнаты, я подошел к окну и приложил ушибленную о его череп руку к стеклу, чтобы охладить ее.

Он стоял под окном и делал мне какие-то знаки.

— Что вам угодно?—спросил я, открывая раму.

— Я забыл взять шляпу!—сказал он скромно.

Подняв с полу котелок, я выбросил его на улицу. И, закрывая окно, услыхал деловой вопрос:

— А если я дам пятнадцать долларов в неделю? Это хорошая плата!